

Нагибин. Дневник неизвестного

КНИГА

Дон Аминадо сформулировал гениально: «Знакомые — это люди, на всякий случай называющие вас дураком. Хорошие знакомые уже могут рассказать о вас скверный анекдот. Другими же называются те, которые действительно знают о вас несколько настоящих гадостей».

зами о том, что «вонь крепчает, духота усиливается» (17 октября 1983 г.), а «ЦДЛ по-настоящему страшен», потому что «грязные засаленные старые официантки-жулябии плохо и хамски обслуживают грязных скупых злобных оборванцев-жуликов от литературы» (17 ноября 1983 г.). Вероятно, описывать жулябий обоого пола подробнее было противно. Нагибина можно понять, но в результате акцент в дневнике перешел на личные переживания, взаимоотношения с шестью женами (заботливо пронумерованными в имен-

тельного договора с властью, позволяющего черпать блага и выпускать книги. Естественно, независимость куплена и иллюзорна, а зависимость искусственно замалчивается. Все это рождает состояние подавленности, усиливаемой непрерывной готовностью к унижению, каковая (готовность) являлась одной из главных в советском характере. «Невзрачный стукачишко из иностранной комиссии Союза киношников быстро сбил с меня спесь» (16 июля 1975 г.), — записывает Нагибин, ничуть не удивляясь.

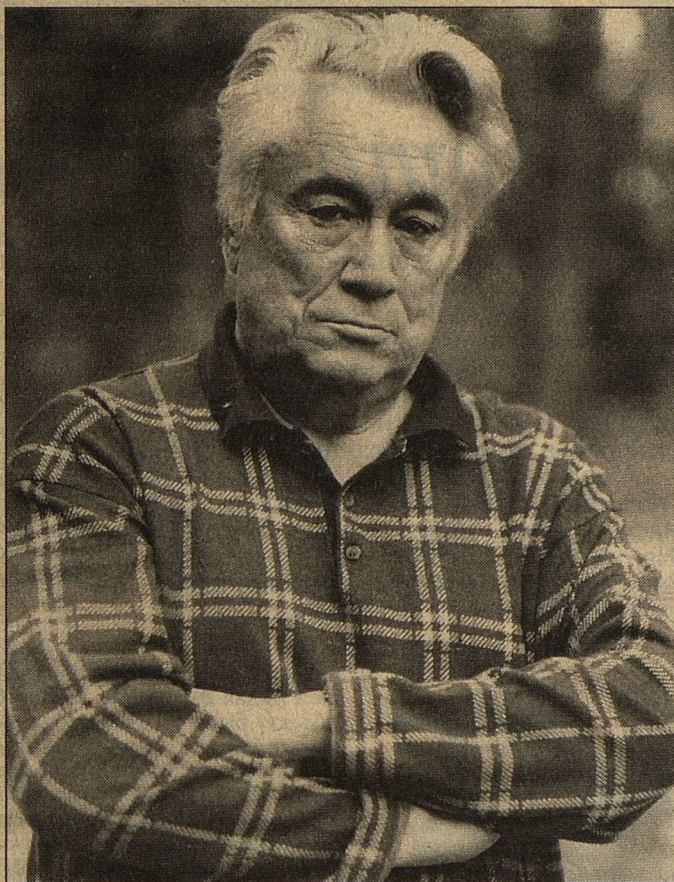
Противоречие между ролью советского писателя и тайной неприязнью ко всему советскому, о чем надо было молчать, было предметом постоянного обдумывания. Из этого корня выросло блестящее эссе об Александре Галиче, конструктивно намеченное в записи от 27 декабря 1977 года (после известия о смерти): «Он был пижон, внешний человек, с блеском и обаянием, актер до мозга костей, эстрадный, а сыграть ему пришлось почти что короля Лира... Народа он не знал и не любил, бордом не был по своей слабости, изнеженной в пороках натуре, его вынесло наверх неутоленное тщеславие».

Галич — обратный вариант несовпадения роли и сути: суть — конформизм и тяга к сибаритству; роль — «смелого борца». Видно, что Нагибина это сильно волновало, и вряд ли он вообще так понял бы Галича, если б не думал о собственном расхождении между ролью, требовавшей успеха, денег, славы и бытового комфорта, и сутью, которую все-таки хотелось видеть далекой от сцены советской жизни. Галич еще и потому стал предметом напряженных размышлений, что роль борца и диссидента Нагибин мысленно примерял на себя (хотя об этом нет в дневниках ни строчки, но я это подозреваю), однако не мог решиться, боялся, или просто это было ему не по душе. Реально он был далек от этого; не случайно ничего не написано ни о Юрии Домбровском, ни о Солженицыне, ни об оккупации Чехословакии в 1968 году, ни об Оруэлле, которого тайком читала интеллигенция... Мысли Нагибина все-таки чаще всего о суетном: хочется в Мексику, а не пускают «стукачишки»; на фестиваль, где показывают «Дерсу Узала» (он сценарист), не пригласили. Он терзается униженным для него несоблюдением внешних знаков благополучия, этих терзаний с избытком, и это выглядит мелко, ужасно пошло и недостойно Писателя. Впрочем, «писатель советский» — категория особая. Отсюда страдание, открывающее дневник на 1973 год: «Преторианцы обнагтели и охамели до последней степени. Они забрали

себе всю бумагу, весь шрифт, всю типографскую краску и весь ледерин, забрали все зарубежные поездки, все санаторные путевки, все автомобили, все похвалы, все ордена, все премии и все должности». Видимо, по кусочку всего, включая похвалы и ордена от Суслова и Брежнева, Нагибину тоже хотелось откусить. Правда, тут же следует оговорка: «Черта ли мне до них? Я знаю, что не в свой век и не на своем месте. Но их путь для меня заказан, изнутри заказан, так что стоит ли тратить на них духи?» Душу тратить не стоило и не хотелось, но рана болела постоянно, тяга вверх, чтобы обитать среди советской элиты, была. Между прочим, тестем Нагибина (отцом второй жены) был член ЦК Лихачев, с 1953 г. министр автотранспорта (с него списан герой «Директора»). Может быть, с этого времени тоска по «истеблишменту» и точила душу, а внутренняя борьба изнуряла, разряжаясь замечаниями (едва ли не завистливыми) о Евтушенко, которому «неведомо сознание греха» от пребывания в аморальных высях, и в этом его счастье.

Ясно, что во всех «жестоких правдах» гораздо больше проговорков о своих комплексах, нежели заботы о нравственности Евтушенко и литературной среды в целом. Разлом структуры сознания «писателя советского» — вот чем ценен «Дневник» в первую очередь. Нагибин так его и понимал: жертва собой, своей репутацией ради того, чтобы показать изнанку: (по)пытку быть писателем в античеловеческих условиях тоталитаризма. Впрочем, в предисловии Нагибин вспомнил Руссо, сразу выдав желание славы как результат всех разоблачений и саморазоблачений. В такой именно цели «самовыворачивания» упрекнул Ставрогина Тихон. Корни нагибинского исповедничества имеют достоевско-ставрогинский привкус, отсюда и амбивалентный образ автора «Дневника», бесконечно далекий от банальной привлекательности.

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ



Юрий Нагибин

ном указателе) и мысли о них, а также о собственном таланте и месте в советской литературной жизни.

И вот тут выясняется самое удивительное. Испытывая к властям резкую враждебность, Нагибин не просто является удачливым и богатым писателем и сценаристом, но еще и стремится к тому, чтобы его образ жизни (прежде всего имеющийся в виду поездка за границу, Нагибин был «героем туристического труда») полностью соответствовал советским «великосветским» стереотипам (заложенным еще Маяковским, Пильняком и Эренбургом) и не уступал Михалкову и Симонову ни в чем. Отсюда ламентация: «Кто (мне) позволил, чтоб выходило столько больших картин, кто позволил столько зарабатывать, кто позволил так жить? А никто не позволял. Все добито не «в силу», а «вопреки». Это непорядок... Не доносит, не подлит, не горлопанит с трибун... а живет так, что самому дипломированному стукачу завидно. Кто же тогда стучать захочет, подличать, жопу лизать? Вот меня и одергивают то и дело, карают без вины, унижают. Успех Михалкова, Симонова, даже такой мелочи, как Юлиан Семенов, понятен, закономерен и ободрающе для окружающих. Таланта почти не нужно, но нужна решимость на любую пакость...» (16 июля 1975 г.).

Одна из сквозных мыслей дневника — моральное превосходство над всеми. Ее подкрепляет явно завышенное представление Нагибина о собственном таланте, местами переходящее в нарциссизм. Нагибин к тому же старается делать вид, что не относится к числу советских писателей, писания которых прошли цензуру КГБ, а сами они заключили «договор» (один тип «договора» был у Симонова, другой — у Чаковского, третий — у Трифонова, четвертый — у Нагибина). Нагибин, каким он предстает в дневниках, то и дело оказывается вне контекста табу и разрешений, вне цензурных условностей, уже проникших внутрь сознания (хотя и встречаются — редко — записи типа: «Тяжело править набор книги, обреченной на растерзание цензором», 24.11.83), вне унизи-

Юрий Нагибин написал «несколько настоящих гадостей» о времени и о себе, о своих знакомых, о хороших знакомых, о друзьях (Галиче) и женах (дополнительная категория, вовсе забытая Доном Аминадо). Все вместе это называется «Дневник», второе дополненное издание которого выпустило издательство «Книжный сад» (редакция, составление, послесловие и указатель имен Юрия Кувалдина). Крайние даты записей: 1942 — 1986; дополнительно печатаются два эссе: «О Галиче — что помнится» и «Голгофа Мандельштама». Нагибин умер 17 июня 1994 года, последняя запись датирована 13 декабря 1986 года. Восьмилетняя лакуна заслуживает отдельного объяснения, которое, в свою очередь, обнаруживает цель дневника и раскрывает психологию его автора.

«Вплоть до восьмидесят пятого года, когда началась перестройка, — читаем в нагибинском предисловии, датированном 2 июня 1994 года, — я жил вне общественной, социальной, политической жизни по соображениям гигиены. По той же причине я, как мог, избегал литературной среды, хотя у меня было немало друзей-приятелей среди писателей. Я человек без стадного чувства...»

После восьмидесят пятого года меняется и социальная жизнь, и отношение к ней, и в дневнике необходимо, очевидно, отпадает. Из этого следует, что дневник принимал на свои страницы все то, что заведомо не могло быть высказано открыто (отсюда вся гамма неподцензурных эмоций); дневник выполнял функцию как бы подсознания. 3 ноября 1951 года Нагибин записал: «Сегодня я с удивительной силой понял, как страшно быть неписателем. Каким непереносимым должно быть страдание нетворческих людей. Ведь их страдание окончательно... страдание безвыходное и бессмысленное, вроде страдания животного. Вот мне сейчас очень тяжело, но я знаю, что обо всем этом когда-нибудь напишу. Боль становится осмысленной».

То, что не имело шанса войти в рассказы, концентрировалось в дневнике. Отсюда тенденциозность отбора, впечатляющий избыток злобы, не пропущенный на страницы прозы, репрезентация абсолютно неизвестного Нагибина, которого даже невозможно вообразить по страницам его широко известных сочинений.

«А стихи Женя читал плохие и длинные. И даже старые его стихи, казавшиеся по памяти свежими, больше не звучат. Нищие мыслишки, ничтожные слова, убогие рифмы... Он жутко и опасен, ибо ему неведомо сознание греха. Для него существует лишь один критерий: полезно это ему или нет» (о Евтушенко, который был для Нагибина «красным цветком»).

«Наши бездарные, прозрачно-пустые писатели (Софронов, Алексеев, Марков, Иванов и др.) закутываются в чины и звания, как уэллсовский невидимка в тряпье и бинты, чтобы стать видимым... Отсюда такое болезненное отношение баловня судьбы Михалкова к премиям. Медали должны облеять его тело, как кольчуга... тогда он материален» (ср. с мыслями Розанова об актере, который без роли — как платье, которое ни на кого не надето).

«Умер В.Кожевников. В некрологах о нем на полном серьезе: крупный художник, большой талант... Он уже многие годы был эталоном плохой советской литературы; так дурно, как он, никто не писал, даже Марков, даже Стаднюк...»

Приведенные цитаты стилистике мышления автора дневника отражают вполне (хотя были люди, на могилу которых Нагибин камня не бросил: Владимир Тендряков, художник Владимир Роскин). Вполне вероятно, что интерес Ю.Кувалдина как издателя был связан именно со скандально-разоблачительным характером текста (отсюда необычное для последних лет второе издание и его очень смелый тираж — 35 тысяч). Но при всей справедливости оценок (практически нет случаев, когда с Нагибиным нельзя было бы согласиться; например, как точно и ядовито высказался он о сестре Марины Цветаевой: «Словно кладбищенская трава, высоко поднялась на могильном холме сестры среднеодаренная Анастасия со своими фальшивыми, искательными, неискренними мемуарами», запись 18 апреля 1982 г.) следует признать: историко-литературная ценность нагибинского текста не очень велика. Во-первых, потому, что сейчас оценки очевидны; во-вторых, Нагибин избегал писать о подробностях так называемой литературной жизни (одно из редких исключений — описание похорон Платонова), об интригах, о взаимоотношениях в писательской среде (то, что есть, например, в дневниках Чуковского), как правило, ограничиваясь общими фра-